

АРМИЯ И ВОЙНА

Уже в месяцы, предшествовавшие революции, дисциплина в армии резко пошатнулась. Можно подобрать немало офицерских жалоб того времени: солдаты непочтительны к начальству, обращение с лошадьми, с казенным имуществом, даже с оружием из рук вон плохое, в воинских поездах беспорядок. Не везде дело обстояло одинаково плохо. Но везде оно шло в одном направлении: к развалу.

Теперь прибавилось потрясение революции. Восстание петроградского гарнизона произошло не только без офицерства, но и против него. В критические часы командиры попросту попрятали головы. Депутат-октябрист Шидловский беседовал 27 февраля с офицерами Преображенского полка, очевидно с целью прощупать их отношение к Думе, но встретил среди аристократов-гвардейцев полное непонимание происходящего, может быть, впрочем, наполовину притворное: все это были перепуганные монархисты. "Каково было мое удивление, -- рассказывает Шидловский, -- когда на следующее утро я увидел на улице весь Преображенский полк шедшим в строю, в образцовом порядке, с оркестром во главе, без единого офицера..." Правда, некоторые части приходили в Таврический со своими командирами, точнее было бы сказать, приводили их с собою. Офицеры чувствовали себя в торжественном шествии на положении пленников. Графиня Клейнмихель, наблюдавшая эти сцены в качестве арестованной, выражается определеннее: офицеры походили на баранов, ведомых на заклание.

Не февральский переворот создал разнь между солдатами и офицерами, он явился лишь ее обнаружением. В сознании солдат восстание против монархии являлось прежде всего восстанием против командного состава. "С утра 28 февраля, -- вспоминает кадет Набоков, носивший в те дни офицерскую форму, -- выходить было опасно, потому что с офицеров начали срывать погоны". Так выглядел в гарнизоне первый день нового режима!

Первой заботой Исполнительного комитета было помирить солдат с офицерами. Это означало не что иное, как подчинить части прежним командирам. Возвращение в полки офицерства должно было, по словам Суханова, предохранить армию от "всеобщей анархии или диктатуры темной и распыленной солдатчины". Эти революционеры, так же как и либералы, боялись солдат, а не офицерства. Между тем рабочие вместе с "темной солдатчиной" опасались всяких бед именно со стороны блестящего офицерства. Примирение получалось поэтому непрочное.

Станкевич рисует отношение солдат к вернувшимся к ним после переворота офицерам такими чертами: "Солдаты, нарушив дисциплину и выйдя из казарм не только без офицеров, но... во многих случаях против офицеров, даже убивая их, исполняющих свой долг, оказалось, совершили великий подвиг освобождения. Если это подвиг и если офицерство теперь само утверждает это, то почему же оно не вывело солдат на улицу -- ведь ему это было легче и безопаснее сделать? Теперь, после факта победы, оно присоединилось к подвигу. Но искренне и надолго ли?" Слова эти тем

поучительнее, что автор их сам принадлежал к тем "левым" офицерам, которые и не думали выводить на улицу своих солдат.

Утром 28-го на Сампсониевском проспекте командир инженерной части объяснял своим солдатам, что "ненавистное всем правительство свергнуто", образовалось новое, во главе с князем Львовым, значит, надо по-прежнему подчиняться офицерам. "А теперь прошу по местам в казармы". Несколько солдат крикнуло: "рады стараться", большинство смотрело растерянно: только и всего? Эту сцену наблюдал случайно Каюров. Его передернуло. "Позвольте мне слово, господин командир..." И не дождавшись разрешения. Каюров поставил вопрос: "Разве для замены одного помещика другим на улицах Петрограда проливалась в течение трех дней кровь рабочих?" Каюров и тут взял быка за рога. Поставленный им вопрос составил содержание борьбы ближайших месяцев. Антагонизм между солдатом и офицером являлся преломлением вражды между крестьянином и помещиком.

В провинции командиры, успевшие, очевидно, получить инструкции, излагали события по одному образцу: государь надорвал свои силы в заботах о стране и вынужден тяжесть правления передать брату. Видно было на лицах солдат, жалуется один из офицеров в глухом углу Крыма: Николай ли, Михаил ли -- все едино. Когда, однако, тот же командир вынужден оказался на следующее утро сообщить батальону о победе революции, солдаты, по его словам, переродились. Их вопросы, жесты, взгляды ясно свидетельствовали об "упорной длительной работе, которую кто-то настойчиво выполнял над этими темными, серыми, не привыкшими мыслить мозгами". Какая пропасть между офицером, мозги которого без усилия приспособляются к последней петроградской телеграмме, и этими солдатами, которые хоть и туго, но честно определяют свое отношение к событиям, самостоятельно взвешивая их на корявой ладони!

Высшее командование, признав формально переворот, решило вообще не пропускать революцию на фронт. Начальник штаба ставки приказал главнокомандующим фронтами в случае появления на подвластной им территории революционных делегаций, которые генерал Алексеев для краткости именовал шайками, немедленно захватывать их и предавать на месте же военно-полевому суду. На следующий день тот же генерал именем "его высочества" великого князя Николая Николаевича требовал от правительства "прекращения всего того, что ныне происходит в тыловых районах армии", другими словами -- революции.

Командование оттягивало осведомление действующей армии о перевороте насколько было возможно не столько из верности монархии, сколько из страха перед революцией. На некоторых фронтах установился подлинный карантин: письма из Петрограда не пропускались, приезжих задерживали -- старый режим воровал таким образом у вечности несколько лишних дней. Весть о перевороте докатывалась до боевой линии не ранее 5--6 марта -- ив каком виде? Мы уже приблизительно слышали: главнокомандующим назначен великий князь, царь отрекся во имя родины, в остальном все по-старому. Во многих окопах, может быть даже в

большинстве, сведения о революции приходили от немцев раньше, чем из Петрограда. Могло ли быть сомнение для солдат, что все начальство в заговоре для сокрытия правды? И могли ли солдаты хоть на грош верить тем же офицерам, нацепившим через день-два красные бантики?

Начальник штаба Черноморского флота рассказывает, будто сообщение о событиях в Петрограде сперва не произвело заметного влияния на матросов. Но как только появились из столицы первые социалистические газеты, "во мгновение ока настроение команд изменилось, начались митинги, из щелей выползли преступные агитаторы". Адмирал попросту не понял того, что совершалось перед его глазами. Не газеты вызвали перемену настроения. Они лишь рассеяли сомнения матросов насчет глубины переворота и позволили им открыто проявить свои истинные чувства, не опасаясь расправы со стороны начальства. Политический облик черноморского офицерства, свой собственный в том числе, тот же автор характеризует одной фразой: "Большинство офицеров флота считало, что без царя отечество погибнет". Демократы считали, что отечество погибнет без возвращения такого рода светочей к темным матросам.

Командный состав армии и флота скоро выделил из себя два фланга: одни пытались удержаться на своих местах, подлаживаясь под революцию, записывались в эсеры, позже часть их пыталась пролезть даже в большевики. Другие, наоборот, петушились, пробовали противодействовать новым порядкам, но скоро срывались на каком-нибудь остром конфликте и смывались солдатским половодьем. Подобные группировки настолько естественны, что повторялись во всех революциях. Непримиимые офицеры французской монархии, те, которые, по словам одного из них, "боролись, пока могли", меньше страдали от неподчинения солдат, чем от прислужничества благородных коллег. В конце концов большинство старого командного состава оттеснялось, подавлялось и лишь небольшая часть перевоспитывалась и ассимилировалась. Офицерство лишь в более драматической форме разделяло судьбу тех классов, из которых рекрутировалось.

Армия вообще представляет собою сколок общества, которому служит, с тем отличием, что она придает социальным отношениям концентрированный характер, доводя их положительные и отрицательные черты до предельного выражения. Война не случайно не выдвинула в России ни одного военного имени. Высший командный состав достаточно ярко характеризуется одним из его среды: "Много авантюры, много невежества, много эгоизма, интриг, карьеризма, алчности, бездарности и недалковидности, -- пишет генерал Залесский, -- и очень мало знания, талантов, желания рисковать собою и даже своим комфортом и здоровьем". Николай Николаевич, первый верховный главнокомандующий, выделялся только высоким ростом и августейшей грубостью. Генерал Алексеев, серая посредственность, старший военный писарь армии, брал усидчивостью. Корнилова, смелого, боевого начальника, даже почитатели его считали простаком; Верховский, военный министр Керенского, отзывался позже о

Корнилове как о львином сердце при бараньей голове. Брусилов и адмирал Колчак несколько превосходили, пожалуй, других интеллигентностью, но и только. Деникин был не без характера, но в остальном совершенно ординарным армейским генералом, прочитавшим пять или шесть книг. А дальше уж шли Юденичи, Драгомировы, Лукомские, с французским языком и без него, просто пьющие и сильно пьющие, но совершенные ничтожества.

В офицерском корпусе нашла, правда, свое широкое представительство не только дворянская, но и буржуазная и демократическая Россия. Война влила в ряды армии десятки тысяч мелкобуржуазной молодежи в виде офицеров, военных чиновников, врачей, инженеров. Эти круги, стоявшие почти сплошь за войну до победы, чувствовали необходимость каких-то широких мер, но подчинялись в конце концов реакционным верхам: при царизме -- из страха, а после переворота -- по убеждению, как демократия в тылу подчинялась буржуазии. Соглашательская часть офицерства разделила в дальнейшем злополучную судьбу соглашательских партий с той разницей, что на фронте положение складывалось неизмеримо острее. В Исполнительном комитете можно было долго держаться на двусмысленностях, перед лицом солдат это было труднее.

Недоброжелательство и трения между демократическим и аристократическим офицерством, не будучи в состоянии обновить армию, вносили только лишний элемент разложения в нее. Физиономию армии определяла старая Россия, и это была физиономия насквозь крепостническая. Офицеры по-прежнему считали наилучшим солдатом покорного и нерассуждающего крестьянского парня, в котором еще не пробудилось сознание человеческой личности. Такова была "национальная", суворовская традиция русской армии, опиравшаяся на первобытное земледелие, крепостное право и сельскую общину. В XVIII столетии Суворов извлекал еще из этого материала чудеса. Лев Толстой с барской любовью идеализировал в своем Платоне Каратаеве старый тип русского солдата, безропотно подчиняющегося природе, произволу и смерти ("Война и мир"). Французская революция, открывавшая великолепное вторжение индивидуализма во все области человеческой деятельности, поставила на суворовском военном искусстве крест. В течение XIX века, как и в XX, на всем протяжении между французской революцией и русской, царская армия бывала неизменно бита как армия крепостническая. Складывавшийся на этой национальной почве командный состав отличался презрением к личности солдата, духом пассивного мандаринства, невежеством в области своего ремесла, полным отсутствием героического начала и изрядной вороватостью. Авторитет офицерства держался на внешних знаках отличия, на ритуале чиновничества, на системе репрессий и даже на особом условном языке, подлом наречии рабства, -- "точно так", "никак нет", "не могу знать", -- каким солдат должен был разговаривать с офицером. Принимая революцию на словах и присягая Временному правительству, царские маршалы попросту перекладывали на павшую династию свои собственные грехи. Они милостиво соглашались на то, чтобы Николай II был объявлен козлом

отпущения за все прошлое. Но дальше -- ни шагу! Где ж им было понять, что моральная сущность революции состояла в одухотворении той человеческой массы, на духовной неподвижности которой зиждилось все их благополучие. Назначенный командовать фронтом Деникин заявил в Минске: "Революцию приемлю всецело и безоговорочно. Но революционизирование армии и внесение в нее демагогии считаю гибельным для страны". Классическая формула генеральского тупоумия! Что касается рядовых генералов, то они, по выражению Залесского, требовали одного: "Не трогайте только нас, а остальное для нас безразлично!" Однако революция не могла их не тронуть. Выходцы из привилегированных классов, они не могли ничего выиграть, но многого лишиться. Им угрожала потеря не только командных привилегий, но и земельной собственности. Под прикрытием лояльности к Временному правительству, реакционное офицерство повело тем более ожесточенную борьбу против советов. Когда же оно убедилось, что революция неудержимо проникает в солдатские массы и в родовые деревни, оно усмотрело в этом неслыханное вероломство -- со стороны Керенского, Милюкова, даже Родзянко. О большевиках нечего и говорить.

Условия существования военного флота в еще гораздо большей степени, чем армии, постоянно заключали в себе живые зародыши гражданской войны. Жизнь матросов в стальных ящиках, куда их насильственно втискивают на несколько лет, даже пищей не всегда отличалась от жизни каторжан. Тут же рядом офицерство, в большинстве из привилегированных кругов, которое морскую службу добровольно избрало своим призванием, отождествляет отечество с царем, царя -- с собою и в матросе видит наименее ценную часть военного корабля. Два чуждых друг другу и замкнутых мира живут в тесном соприкосновении, не выпуская друг друга из глаз. Суда флота базировались на приморские промышленные города с большим числом рабочих, необходимых для постройки и ремонта судов. К тому же в составе машинных команд и технических служб на самих кораблях немало квалифицированных рабочих. Вот условия, которые превращали военный флот в революционную мину. В переворотах и военных восстаниях всех стран матросы представляли наиболее взрывчатое вещество; почти всегда они при первой возможности сурово расправлялись со своим офицерством. Русские матросы не составили исключения.

В Кронштадте переворот сопровождался вспышкой кровавой мести против командиров, которые, в ужасе перед собственным прошлым, пытались спрятать от матросов революцию. Одной из первых жертв пал командующий флотом адмирал Вирен, пользовавшийся заслуженной ненавистью. Часть командного состава была матросами арестована. Офицеры, оставленные на свободе, были лишены оружия.

В Гельсингфорсе и Свеаборге адмирал Непенин не пропускал никаких известий из восставшего Петрограда до ночи 4 марта, запугивая матросов и солдат репрессиями. Тем более свирепо вспыхнуло здесь восстание, длившееся ночь и день. Много офицеров было арестовано. Наиболее ненавистных спустили под лед. "Судя по рассказу Скобелева о поведении

гельсингфорских и флотских властей, -- пишет Суханов, отнюдь не снисходительный к "темной солдатчине", -- надо удивляться, что эти эксцессы были так незначительны".

Но и в сухопутных войсках не обошлось без кровавых расправ, которые прошли несколькими волнами. Сперва это была месть за прошлое, за подлые заушения солдата.

В воспоминаниях, жгучих, как язвы, недостатка не было. С 1915 года официально введено было в царской армии дисциплинарное наказание розгами. Офицеры по собственному усмотрению пороли солдат, нередко отцов семейств. Но дело не всегда шло только о прошлом. На Всероссийском совещании советов докладчик по вопросу об армии сообщал" что еще 15--17 марта отдавались в действующей армии приказы о наложении телесных наказаний на солдат. Депутат Думы, вернувшись с фронта, рассказывал, что казаки в отсутствие офицеров заявили ему: "Вот вы говорите: приказ (повидимому, знаменитый "приказ № I", о котором еще речь впереди). Он получен вчера, а сегодня мне комендант морду набил". Большевики столь же часто ездили удерживать солдат от эксцессов, как и соглашатели. Но кровавые возмездия были так же неизбежны, как отдача после выстрела. Во всяком случае, именовать Февральскую революцию бескровной у либералов не было иных оснований, кроме того что она доставила им власть.

Некоторые из офицеров умудрялись вызывать острые конфликты из-за красных бантиков, которые в глазах солдат были символом разрыва с прошлым. На этой почве был убит командир сумского полка. Командир корпуса, потребовавший у вновь прибывшего пополнения снять красные анты, был арестован солдатами и посажен на гауптвахту. Немало столкновений выходило и из-за царских портретов, не удалявшихся из официальных помещений. Была ли это преданность монархии? В большинстве случаев -- только неверие в прочность революции и личная страховка. Но солдаты не без основания видели за портретами притаившийся призрак старого режима.

Не продуманные мероприятия сверху, а порывистые движения снизу устанавливали новый режим в армии. Дисциплинарная власть офицеров не была ни отменена, ни ограничена; она просто отпала в течение первых недель марта сама собой. "Было ясно, -- говорит начальник черноморского штаба, -- что если бы офицер попробовал наложить дисциплинарное взыскание на матроса, то не было сил для приведения этого наказания в исполнение". В этом и состоит один из признаков подлинно народной революции.

С падением дисциплинарной власти практическая несостоятельность офицерства оказалась ничем не прикрыта. Станкевич, которому нельзя отказать ни в наблюдательности, ни в интересе к военному делу, дает уничтожающий отзыв о командном составе и с этой стороны: учение шло все еще по старым уставам, совершенно не отвечавшим потребностям войны. "Такие занятия были только испытанием на терпеливость и повиновение

солдат". Вину за собственную несостоятельность офицерство стремилось, разумеется, переложить на революцию.

Скорые на жестокую расправу солдаты готовы были и к детской доверчивости, и самозабвенной признательности. На короткий момент депутат Филоненко, священник и либерал, показался фронтовикам носителем идей освобождения, пастырем революции. Старые церковные представления причудливо соединились с новой верой. Солдаты носили священника на руках, поднимали его над головами, усаживали заботливо в сани, и он затем, захлебываясь от восторга, докладывал Думе: "Мы не могли распрощаться. Они целовали нам руки и ноги". Депутату казалось, что Дума имеет в армии громадный авторитет. На самом деле авторитет имела революция и это она бросала свой ослепительный отблеск на отдельные случайные фигуры.

Символическая чистка, произведенная Гучковым на верхах армии, -- смещение нескольких десятков генералов -- не давала никакого удовлетворения солдатам, а в то же время создавала в высшем офицерстве состояние неуверенности. Каждый боялся, что не подойдет, большинство плыло по течению, подлаживалось и показывало кулак в кармане. Еще хуже обстояло со средним и низшим офицерством, сталкивавшимся с солдатами лицом к лицу. Здесь правительственной чистки вовсе не было. Ища легальных путей, артиллеристы фронтальной батареи писали в Исполнительный комитет и в Государственную думу о своем командире: "Братцы... покорнейше просим убрать нашего внутреннего врага Ванчехазу". Не получая ответа, солдаты начинали обычно действовать собственными средствами: неповиновением, вытеснением, даже арестами. Только после этого начальство спохватывалось, убирало с глаз арестованных или избитых, иногда пытаясь наказать солдат, но еще чаще оставляя их безнаказанными, чтобы еще больше не осложнять дела. Это создавало невыносимое положение для офицерства, не внося в то же время никакой определенности в положение солдат.

Даже многие боевые офицеры, те, которые серьезно относились к судьбе армии, настаивали на необходимости генеральной чистки командного состава: без этого, по их уверению, нельзя было и думать о возрождении боеспособности частей. Солдаты представляли депутатам Думы не менее убедительные доводы. Раньше, когда их обижали, они должны были жаловаться начальству, которое обычно не обращало на жалобы внимания. Теперь как же быть? Ведь начальство осталось старое, значит, и судьба жалоб будет старая. "На этот вопрос было очень трудно ответить", -- признается депутат. А между тем этот простой вопрос охватывал всю судьбу армии и предрешал ее будущее.

Не следует представлять себе взаимоотношения в армии однородными на всем протяжении страны, во всех родах войск и во всех частях. Нет, пестрота была очень значительна. Если матросы Балтийского флота отозвались на первую весть о революции расправой над офицерами, то рядом, в гарнизоне Гельсингфорса, офицеры еще в начале апреля занимали руководящее положение в солдатском Совете и на торжествах выступал

здесь от социалистов-революционеров внушительный генерал. Таких контрастов ненависти и доверчивости было немало. Но все же армия представляла систему сообщающихся сосудов и политические настроения солдат и матросов тяготели к одному уровню.

Дисциплина кое-как держалась, покуда солдаты рассчитывали на скорые и решительные перемены. "Но когда солдаты увидели, -- по словам одного фронтового делегата, -- что все осталось по-старому, тот же гнет, рабство и темнота, то же издевательство, -- начались волнения". Природа, которая не догадалась большую часть человечества вооружить горбами, как на грех снабдила солдат нервной системой. Революции служат для того, чтобы напоминать время от времени об этом двойном упущении.

В тылу, как и на фронте, случайные поводы легко вели к конфликтам. Солдатам предоставлено было право свободного посещения, "наравне со всеми гражданами", театров, собраний, концертов и проч. Многие солдаты толковали это как право бесплатного посещения театров. Министр разъяснил им, что "свободу" нужно понимать в умозрительном смысле. Но восставшие народные массы никогда еще не обнаруживали склонности ни к платонизму, ни к кантианству.

Износившаяся ткань дисциплины разрывалась в несколько приемов, в разное время, в разных гарнизонах и разных частях. Командиру нередко представлялось, что в его полку или дивизии все шло хорошо до появления газет или до приезда агитатора извне. На деле совершалась работа более глубоких и неотразимых сил.

Либеральный депутат Янушкевич привез с фронта то обобщение, что сильнее всего оказалась дезорганизация в "зеленых" частях, где мужики. "В частях более революционных с офицерами уживаются очень хорошо". На самом деле дисциплина дольше всего держалась на двух полюсах: в привилегированной кавалерии из зажиточных крестьян и в артиллерии -- вообще в технических войсках, с высоким процентом рабочих и интеллигенции. Дольше всех крепились казаки-собственники, опасавшиеся аграрной революции, при которой большинство их могло только потерять, а не выиграть. Отдельные части казачества не раз и после переворота выполняли усмирительную работу. Но в общем все же разница была лишь в темпах и в сроках разложения.

В глухой борьбе были свои приливы и отливы. Офицеры пытались приспособиться. Солдаты снова начинали выжидать. Но через временные смягчения, через дни и недели перемирия социальная ненависть, разлагавшая армию старого режима, достигала все более высокого напряжения. Она все чаще вспыхивала трагическими зарницами. В Москве, в одном из цирков, созвано было собрание инвалидов, солдат и офицеров совместно. Оратор-калека резко заговорил с трибуны про офицеров. Поднялся протестующий шум, стук ногами, палками, костылями. "А давно ли вы, господа офицеры, оскорбляли солдат розгой и кулаком?" Раненые, контуженые, изувеченные люди стояли стеной друг против друга: калеки-солдаты против калек-офицеров, большинство против меньшинства, костыли против костылей. В

этой кошмарной сцене на арене цирка была уже заложена грядущая свирепость гражданской войны.

Над всеми отношениями и противоречиями в армии, как и в стране, тяготел один вопрос, который назывался коротким словом *война*. От Балтийского моря до Черного, от Черного до Каспийского и дальше в глубь Персии на необозримом фронте стояло 68 пехотных и 9 кавалерийских корпусов. Что с ними будет дальше? Что будет с войною?

В области боевого снабжения армия к началу революции значительно окрепла. Внутреннее производство для нужд войны повысилось, одновременно усилился подвоз военного материала, особенно артиллерии, от союзников через Мурманск и Архангельск. Ружья, пушки, снаряды имелись в несравненно большем количестве, чем в первые годы войны. Производилось развертывание новых пехотных дивизий. Расширены были инженерные войска. На этом основании некоторые из злополучных воевод пытались позже доказывать, что Россия стояла накануне победы и что помешала этому только революция. Двенадцать лет перед тем Куропаткин и Линевиц с таким же основанием утверждали, что Витте помешал им разгромить японцев. На самом деле Россия была в начале 1917 года от победы дальше, чем когда-либо. Наряду с повышением боевого снабжения в армии обнаружился к концу 1916 года острый недостаток продуктов питания, тиф и цинга вызывали больше жертв, чем бои. Расстройство транспорта все более затрудняло переброску, и это одно сводило к нулю стратегические комбинации, связанные с крупными перегруппировками войсковых масс. В довершение острый недостаток лошадей осуждал нередко артиллерию на неподвижность. Но главное все же было не здесь: безнадежным было нравственное состояние армии. Его можно определить так: армии как армии уже не было. Поражения, отступления, мерзость правящих вконец подорвали войска. Этого нельзя было исправить административными мерами, как нельзя было изменить нервную систему страны. Солдат смотрел теперь на кучу снарядов с таким же отвращением, как на кучу червивого мяса: все это казалось ему ненужным, негодным, обманом и воровством. И офицер не мог сказать ему ничего убедительного и уже не решался свернуть ему скулу. Офицер сам считал себя обманутым старшим командованием и в то же время нередко чувствовал за старших свою вину перед солдатом. Армия была неизлечимо больна. Она еще пригодна была, чтобы сказать свое слово в революции. Но для войны она уже не существовала. Никто не верил в успех войны, офицеры так же мало, как и солдаты. Никто не хотел больше воевать - ни армия, ни народ.

Правда, в высоких канцеляриях, где жили особой жизнью, еще говорили по инерции о больших операциях, о весеннем наступлении, о захвате турецких проливов. В Крыму даже готовили для последней цели большой отряд. В ведомостях значилось, что для десанта назначается лучший элемент армии. Из Петрограда прислали гвардейцев. Однако, по рассказу офицера, приступившего к занятиям с ними 25 февраля, то есть за два дня до переворота, пополнение оказалось из рук вон плохое. Никакого желания

воевать не было в этих равнодушных голубых, карих и серых глазах... "Все их мысли, все их стремления были только и исключительно -- мир".

Таких и подобных свидетельств имеется немало. Революция лишь обнаружила то, что сложилось до нее. Лозунг "Долой войну" стал поэтому одним из главных лозунгов февральских дней. Он шел от женских демонстраций, от рабочих Выборгской стороны и из гвардейских казарм.

При объезде депутатами фронта в начале марта солдаты, особенно старших возрастов, неизменно спрашивали: "А что же говорят про землю?" Депутаты уклончиво отвечали, что земельный вопрос будет решен Учредительным собранием. Но тут раздается голос, выдающий общую затаенную думу: "Что земля, -- если меня не будет, то мне и земли не надо". Такова исходная солдатская программа революции: сперва мир, затем земля.

На Всероссийском совещании советов в конце марта, где было немало патриотического бахвальства, один из делегатов, представлявший непосредственно солдатские окопы, с большой правдивостью передавал, как фронт воспринял весть о революции: "Все солдаты сказали:

слава богу, может быть, теперь мир скоро будет". Окопы поручили этому делегату передать съезду: "Мы готовы жизнь свою положить за свободу, но мы все-таки, товарищи, хотим конца войны". Это был живой голос действительности, особенно во второй половине наказа. Потерпеть еще потерпим, раз нужно, но пусть там, наверху, торопятся с миром.

Царские войска во Франции, т. е. в совершенно для них искусственной среде, подвижны были теми же чувствами и проделывали те же этапы разложения, что и армия на родине. "Когда услышали мы, что царь отрекся, -- объяснял на чужбине офицеру пожилой солдат из безграмотных крестьян, -- то здесь же и подумали, что, значит, и война кончится... Ведь царь нас на войну посылал... А зачем мне свобода, если я опять в окопах гнить должен?" Это подлинно солдатская философия революции, не извне принесенная: таких простых и убедительных слов ни один агитатор не выдумает.

Либералы и полулиберальные социалисты пытались задним числом представить революцию как патриотическое восстание. 11 марта Милюков объяснял французским журналистам: "Русская революция произведена была для того, чтобы устранить препятствия, стоявшие на пути России к победе". Тут лицемерие идет рядом с самообольщением, хотя лицемерия, надо думать, все же больше. Откровенные реакционеры видели яснее. Фон Струве, панславист из немцев, православный из лютеран и монархист из марксистов, хоть и на языке реакционной ненависти, все же ближе определял действительные истоки переворота. "Поскольку в революции участвовали народные и, в частности, солдатские массы, -- писал он,

-- она была не патриотическим взрывом, а самовольно погромной демобилизацией и была прямо направлена против продолжения войны, то есть была сделана ради прекращения войны".

Наряду с верной мыслью эти слова заключают в себе, однако, и клевету. Погромная демобилизация росла на самом деле из войны. Революция не создала, а, наоборот, даже приостановила ее. Дезертирство,

чрезвычайно сильное накануне революции, в первые недели после переворота ослабело. Армия выжидала. В надежде, что революция даст мир, солдат не отказывался подпереть плечом фронт: иначе ведь новое правительство и мира не сможет заключить.

"Солдаты определенно высказывают взгляд, -- докладывает 23 марта начальник гренадерской дивизии,

-- что мы можем только обороняться, а не наступать". Военные рапорты и политические доклады на разные лады повторяют эту мысль. Прапорщик Крыленко, старый революционер и будущий верховный главнокомандующий у большевиков, свидетельствовал, что для солдат вопрос о войне разрешался в то время формулой: "Фронт держать, в наступление не идти". На более торжественном, однако вполне искреннем языке это и значило защищать свободу.

"Штыки в землю втыкать нельзя!" Под влиянием смутных и противоречивых настроений, солдаты в те времена отказывались нередко и слушать большевиков. Им казалось, может быть под впечатлением отдельных неумелых речей, что большевики не заботятся об обороне революции и могут помешать правительству заключить мир. В этом солдат чем дальше, тем больше заверяли социал-патриотические газеты и агитаторы. Но не давая подчас большевикам выступать, солдаты с первых дней революции решительно отвергали мысль о наступлении. Столичным политикам это казалось каким-то недоразумением, которое можно устранить, если на солдат как следует нажать. Агитация за войну выросла в чрезвычайной степени. Буржуазная пресса в миллионах экземпляров изображала задачи революции в свете войны до победы. Соглашатели подтягивали этой агитации -- вначале вполголоса, потом смелее. Влияние большевиков, очень слабое в момент переворота, еще более уменьшилось, когда тысячи рабочих, сосланных на фронт за забастовки, покинули ряды армии. Стремление к миру почти не находило, таким образом, открытого и ясного выражения как раз там, где оно было напряженнее всего. Командирам и комиссарам, которые искали утешительных иллюзий, такое положение давало возможность обманываться насчет действительного положения вещей. В статьях и речах того времени нередко утверждения, будто солдаты отказываются от наступления исключительно вследствие неправильного понимания формулы "без аннексий и контрибуций". Соглашатели не щадили себя, разъясняя, что оборонительная война допускает наступление, а иногда и требует его. Как будто дело было в этой схоластике! Наступление означало возобновление войны. Выжидательное держание фронта означало перемирие. Солдатская теория и практика оборонительной войны была формой молчаливого, а в дальнейшем и открытого соглашения с немцами: "Не трогайте нас, и мы вас не тронем". Больше этого армия уже не могла дать войне.

Солдаты тем менее поддавались воинственным увещаниям, что, под видом подготовки к наступлению, реакционное офицерство явно пыталось прибирать вожжи к рукам. В солдатский обиход входила фраза: "Штык

против немцев, приклад против внутреннего врага". Штык во всяком случае имел оборонительное назначение. О проливах окопные солдаты не думали. Стремление к миру составляло могучее подпочвенное течение, которое скоро должно было пробиться наружу.

Не отрицая, что уже до революции "замечались" в армии отрицательные явления, Милюков пытался, однако, долгое время после переворота утверждать, что армия была способна осуществить предписанные ей Антантой задачи. "Большевистская пропаганда, -- писал он в качестве историка, -- далеко не сразу проникла на фронт.

Первый месяц или полтора после революции армия оставалась здоровой". Весь вопрос рассматривается в плоскости пропаганды, как будто ею исчерпывается исторический процесс. Под видом запоздалой борьбы с большевиками, которым он приписывает явно мистическую силу, Милюков ведет борьбу с фактами. Мы уже видели, как армия выглядела в действительности. Посмотрим, как сами командиры оценивали ее боеспособность в первые недели и даже дни после переворота.

6 марта главнокомандующий Северным фронтом генерал Рузский сообщает Исполнительному комитету, что начинается полное неподчинение солдат власти; необходим приезд на фронт популярных деятелей, чтобы внести хоть какое-нибудь спокойствие в армию.

Начальник штаба Черноморского флота рассказывает в своих воспоминаниях: "С первых дней революции для меня было ясно, что войну вести нельзя и что она проиграна". Того же мнения держался, по его словам, и Колчак, и если оставался в должности командующего флотом, то только для того, чтобы предохранить офицерский состав от насилий.

Граф Игнатьев, занимавший высокий командный пост в гвардии, писал в марте Набокову: надо отдать себе ясный отчет в том, что война кончена, что мы больше воевать не можем и не будем. Умные люди должны придумать способ ликвидировать войну безболезненно, иначе произойдет катастрофа... Гучков тогда же сказал Набокову, что получает такие письма массами.

Отдельные, по внешности более благоприятные отзывы, крайне редкие, разрушаются обычно дополнительными пояснениями. "Стремление войск к победе осталось, -- доносит командующий 2-й армией Данилов, -- в некоторых частях даже усилилось". Но тут же замечает: "Дисциплина пала... Наступательные действия желательно отложить до тех пор, когда острое положение уляжется (1--3 месяца)". Затем неожиданное добавление: "Из пополнений доходит 50%; если они будут так же таять и впредь и будут так же недисциплинированы, на успех наступления рассчитывать нельзя".

"К оборонительным действиям дивизия вполне способна", -- докладывает доблестный начальник 51-й пехотной дивизии, и тут же присовокупляет: "Необходимо избавить армию от влияния солдатских и рабочих депутатов". Это, однако, совсем не так просто!

Начальник 182-й дивизии докладывает командиру корпуса: "С каждым днем все чаще появлялись недоразумения по пустякам в сущности, но

грозные по характеру, все больше и больше нервировались солдаты и тем более офицеры".

Здесь дело идет пока еще о разрозненных свидетельствах, хотя и многочисленных. Но вот 18 марта состоялось в ставке совещание высших чинов по поводу состояния армии. Заключение центральных управлений единодушно. "Укомплектование людьми в ближайшие месяцы подавать на фронт в потребном числе нельзя, ибо во всех запасных частях происходят брожения. Армия переживает болезнь. Наладить отношения между офицерами и солдатами удастся, вероятно, лишь через 2--3 месяца (генералы не понимали, что болезнь будет только еще прогрессировать). Пока же замечается упадок духа среди офицерского состава, брожение в войсках, значительное дезертирство. Боеспособность армии понижена, и рассчитывать на то, что в данное время армия пойдет вперед, очень трудно". Вывод: "Приводить ныне в исполнение намеченные весной активные операции недопустимо".

В следующие за этим недели положение продолжает быстро ухудшаться, и свидетельства множатся без конца.

В конце марта командующий 5-й армией генерал Драгомиров писал генералу Рузскому: "Боевое настроение упало. Не только у солдат нет никакого желания наступать, но даже простое упорство в обороне и то понизилось до степени, угрожающей исходу войны... Политика, широко охватившая все слои армии... заставила всю войсковую массу желать одного -- прекращения войны и возвращения домой".

Генерал Лукомский, один из столпов реакционной ставки, недовольный новыми порядками, перешел в начале революции на командование корпусом и нашел, по его рассказу, что дисциплина держалась еще только в артиллерийских и инженерных частях, в которых было много кадровых офицеров и солдат. "Что же касается всех трех пехотных дивизий, то они были на пути к полному развалу".

Дезертирство, сократившееся после переворота под влиянием надежд, снова возросло под влиянием разочарования. За одну неделю, с 1 по 7 апреля, дезертировало, по сообщению генерала Алексеева, около 8 тысяч солдат с Северного и Западного фронтов. "С большим удивлением, -- писал он Гучкову, -- читаю отчеты безответственных людей о "прекрасном" настроении армии. Зачем? Немцев не обманем, а для себя -- это роковое самообольщение".

Следует отметить себе, что нигде еще почти нет ссылки на большевиков: большинство офицеров едва усвоило это странное название. Если в рапортах поднимается речь о причинах разложения армии, то это оказываются газеты, агитаторы, советы, "политика" -- вообще, словом, Февральская революция.

Попадались еще отдельные начальники-оптимисты, которые надеялись, что все образуется. Больше было таких, которые преднамеренно закрывали глаза на факты, чтобы не причинять неприятностей новой власти. И наоборот, значительное число командиров, особенно высших, сознательно

преувеличивало признаки распада, чтобы добиться от власти решительных мер, которых они, однако, сами не могли или не решались назвать по имени. Но основная картина бесспорна. Застигнув большую армию, переворот облек процесс неудержимого распада в политические формы, которые с каждой неделей принимали все более беспощадную отчетливость. Революция доводила до конца не только страстную жажду мира, но и вражду солдатской массы к командному составу и господствующим классам вообще.

В середине апреля Алексеев сделал личный доклад правительству о настроении армии, причем, видимо, не щадил красок. "Я хорошо припоминаю, -- пишет Набоков, -- какое чувство жути и безнадежности меня охватывало". Надо полагать, при этом докладе, который мог относиться лишь к первым шести неделям после переворота, присутствовал и Милюков; вероятнее всего именно он выводил Алексеева, стремясь запугать своих коллег, а через их посредство -- друзей-социалистов. Гучков действительно имел после этого беседу с представителями Исполнительного комитета. "Начались гибельные братания, -- жаловался он. -- Зарегистрированы случаи прямого неповиновения. Приказы предварительно обсуждаются в армейских организациях и на общих митингах. Об активных операциях в таких-то частях не пожелали и слушать... Когда люди надеются, что завтра будет мир, -- не без основания говорил Гучков, -- то сегодня нельзя заставить себя сложить голову". Отсюда военный министр делал вывод: "Надо перестать говорить вслух о мире". А так как именно революция научила людей вслух говорить о том, о чем они думали раньше про себя, то это значило: надо прикончить революцию.

Солдат, конечно, и в первый день войны не хотел ни умирать, ни воевать. Но он так же не хотел этого, как артиллерийская лошадь не хотела тащить тяжелое орудие по грязи. Как лошадь, он не думал, что от навалившейся на него ноши можно избавиться. Между его волей и событиями войны не было никакой связи. Революция открыла ему эту связь. Для миллионов солдат она стала означать право на лучшую жизнь, прежде всего право на жизнь вообще, право оградить свою жизнь от пуль и снарядов, а заодно -- и свою физиономию от офицерского кулака. В этом смысле и сказано выше, что основной психологический процесс в армии состоял в пробуждении личности. В вулканическом извержении индивидуализма, принимавшего нередко анархические формы, образованные классы видели измену нации. А между тем на деле в бурных выступлениях солдат, в их необузданных протестах, даже в их кровавых эксцессах только и формировалась нация из сырого безличного доисторического материала. Столь ненавистный буржуазии разлив массового индивидуализма вызывался характером Февральской революции именно как революции *буржуазной*.

Но это было не ее единственное содержание. Ибо, помимо крестьянина и его сына-солдата, в революции участвовал рабочий. Он уже давно чувствовал себя личностью, вошел в войну не только с ненавистью к ней, но и с мыслью о борьбе против нее, и революция означала для него не только голый факт победы, но и частичное торжество его идей. Низвержение

монархии для него было лишь первой ступенью, и он на ней не задерживался, торопясь к другим целям. Весь вопрос для него состоял в том, насколько его дальше поддержат солдат и крестьянин. "Зачем мне земля, если меня не будет на ней? -- спрашивал солдат. -- Зачем мне свобода, -- говорил он вслед за рабочим, -- стоя у недоступных для него дверей театра, -- если ключи к свободе у господ?" Так сквозь необозримый хаос Февральской революции уже просвечивали стальные черты Октябрьской.